

«Дрессировка для порока, сообразно с требованиями развратных посетителей»

Александр Бикбов



Ильюхов А. А.
Проституция в России с XVII века до 1917 года. М.: Новый хронограф, 2008. 558 с.



Адлер Л.
Повседневная жизнь публичных домов во времена Золя и Мопассана. М.: Молодая Гвардия, 2005. 272 с.

Л АВИНУ внимания к женской проституции сорвало в 1986 году: журналисты, режиссеры, социологи спешили донести до наэлектризованной публики подробности нового явления. В напряженной полупустоте грядущего издательского бума появлялись первые переиздания дореволюционных монографий, дерзаящие с обложек еще недавно запретным словом¹. Десятки студентов тогда же создаваемых социологических факультетов избирали проститутку объектом учебного исследования, впрочем, редко доводимого до конца. Закипали политические страсти о легализации.

К середине 1990-х вышла череда изданий и переизданий, претендующих на сенсационность. Но иной стала прагматика понятия. Оно больше не будоражило новизной и не травмировало вкусы (бывших) советских обывателей. В конце 1980-х у фигуры «интердевочки» был шанс стать частью культурной истории: она была символом высокого ремесла в сфере запретных связей, в равной мере продажных сексуальных и опасных — с иностранцами. Очень быстро, однако, и проститутки, и иностранцы, и местные потребители банализировались. Как многие молчаливо принятые явления Перехода, платные сексуальные услуги были ассимилированы новыми стилями жизни, меняя организацию под милицейскими «крышами» и в сетях международного трафика. В противовес создавались ассоциации помощи и центры предотвращения — обладатели минимального публичного веса в новом социальном порядке. Между впечатляюще рутинным расширением рынка и попытками профессионально снизить его социальные издержки, тема проституции получила выражение в нишевых публикациях и эпизодических киноперсонажах. Еще несколько лет спустя после 1991 года в опросах о престижной и предпочтительной профессии российские школьницы порой указывали «проститутка» (а школьники — «киллер»). К концу 1990-х декларируемые вкусы окончательно утратили бандитскую бесшабашность и сместились к офисной респектабельности. Не став приемлемой, тема проституции не превратилась во вновь запретную, но несомненно — в социально и интеллектуально маргинальную.

¹ Как текст д-ра Дюпюи «Проституция в Древности» 1907 года, переизданный в 1990 комплексным кооперативом «Росвь» под мягкой ярко-желтой с черным обложкой в 100 тысячах экземпляров.

Выход в свет российского исторического исследования о проституции в 2008 г. — симптоматичное событие, которое, возможно, отмечает новый период умеренного интереса к теме. В последние годы нечастое к ней обращение происходит с нескольких, не вполне тривиальных позиций. Сотрудники милиции¹ и неправительственных ассоциаций² — в качестве узких специалистов. Медики в костюмах светских беллетристов³. Предприниматели в роли социальных исследователей. Историки в облачении моральных наставников.

Безотносительно к российской специфике, анализ и критику проституции можно в самом общем виде разделить на две стратегии, в зависимости от взгляда, который порой ясно артикулируют сами авторы: мужскую и женскую — при этом не обязательно феминистскую. Базовые очевидности преобладающего мужского взгляда служат основой всех культурных кодов, сохраняя непрозрачность для самих мужчин. Женщины-авторы нередко острее рефлексируют гендерную специфику как своей, так и чужой точки зрения, критикуя частичность мужского определения (гетеро) сексуальных практик, с его претензией на универсализм. Частичного при любой гендерной принадлежности как в силу явных табу, так и по причине ангажированного интереса к истинам сексуальности. Впрочем, по той же причине восстановление полной и объективной истины — как утверждает Лора Адлер (о ее книге речь пойдет далее) — неосуществимая задача. Следует добавить: неосуществимая и потому, что, несмотря на свою частичность, мужское оказывается исторически всеобщим, и критический женский взгляд на проституцию не имеет иного исходного горизонта, помимо мужского языка. В результате, женская и мужская стратегии расходятся не в наборе тем и понятий, так или иначе генетически обязанных буржуазному и мужскому XIX веку, а, прежде всего, в характере связи между двумя основополагающими предметами описания: проституции как обмена и свойствами протитирующей женщины. Мужская стратегия склонна к явному (моралистскому) или неявному (через систему умолчаний) признанию этого обмена постыдным, проститутку же она делает орудием внешних сил и обстоятельств, включая желание потребителя-мужчины. Женская стратегия уделяет больше внимания насильственному характеру обмена, при этом рассматривая женщину-проститутку как субъект чувственности. Иными словами, мужская и женская стратегии несимметричны: первая склонна к вытеснению чувственности, разворачиваясь на линии принуждения/стыд, вторая, сколь удивительным это ни покажется, избавлена от стыда и выстраивается на линии насилия/чувственность. Рассматривая каждую из этих линий как результат работы различающихся процедур самоцензуры, мы можем получить более ясную картину представлений о проституции. Вместе

с тем я далек от утверждения, что спектр недавних публикаций сводится к этому элементарному различию.

Упомянутая историческая работа — монография «Проституция в России с XVII века до 1917 года» (2008) Александра Ильюхова, которая обладает признаками мужского взгляда, увязшего в беспорядочных тематических связях. Несмотря на объем и многообещающее заглавие, книгу можно охарактеризовать кратко: попытка бессодержательной систематизации. С первых же страниц текст не позволяет заподозрить его автора ни в намерении описать феномен в тщательно сконструированной перспективе, ни в готовности представить выверенное собрание фактов. В композиционном и жанровом отношении книга точнее всего распознается как мятый галстук в глубине заштопанной вешами шкафа.

Следует сразу принять в расчет, что монография избавлена от какой-либо исследовательской концепции и внятной структуры. Она изобилует содержательными повторами и постоянным возвратом к темам заболевания сифилисом, завлечения девушек в профессию обманом или силой, социального неблагополучия как основной причины проституции. Формально монография поделена на главы, но одни и те же «постыдные» сюжеты, обильно воспроизводятся в каждой из них. Неупорядоченность текста выражается и в произвольной рубрикации: например, история и стиль жизни публичных домов бегло прослезены в недрах безразмерной главы «Политика государства в отношении проституции», а формы полицейского надзора в главе «Моральный и социальный облик проститутток».

Кроме того, авторский текст тотально зависим от публикаций второй половины XIX в. — начала XX в., сведения и цитаты из которых дают основной объем книги. Срастание языка автора с источниками лишь усиливает консервативный легитимизм мужского взгляда на проституцию как зло, государственное сознание которого, согласно А. Ильюхову, непрерывно возрастает на протяжении российской истории. На деле текст пестрит свидетельствами использования проституции, например, для удовлетворения нужд военных и разведки или конструирования самой фигуры проститутки врачебно-полицейскими комитетами. Однако в общем виде вопрос о государстве XIX в. как своеобразном инженере, который проектирует категорию «проституция» и наполняет ее человеческим материалом, так и не звучит. Согласно автору, с XVII в. попытка высшей государственной власти контролировать занятия проституцией делалась все жестче, но регуляторно терпели фиаско, не в последнюю очередь из-за коррупционности низших полицейских чинов. К слову, упоминание XVII (а также, по умолчанию, XVIII) века в заглавии оказывается недоразумением, вряд ли оправданным десятком страниц разрозненных данных. Не упорядочивая хаоса слабо соотнесенных друг с другом сведений и обширных цитат, неудовлетворительный в своей линейности образ государства-праведника обязан банальному невниманию к деталям.

Полный отказ историка от работы с архивами удивляет, но не так сильно, как уход от периодизации и от критики источников. В окружении заемных идей и фактов концепция истории исчерпывается одной формулой предисловия: «Поразительно, но за прошедшие полтора столетия характер проституции не изменился». О столь парадоксальной модели исторического безвременья автор регу-

¹ Станская А. А. *Проституция несовершеннолетних — социальная и правовая проблема общества*. СПб: Юридический центр-пресс, 2005.

² Ходырева Н. В. *Современные дебаты о проституции. Гендерный подход*. СПб: Алетейя, 2006. Уже нормативные аллюзии предыдущего заглавия и экспертные данные отчетливо маркируют зоны компетенции авторов.

³ Князькин И. В. *Всемирная история проституции*. СПб.: Сова — АСТ, 2006. 928 стр. 5000 экз. Книга, предназначенная служить подарком любознательному холостяку.

лярно напоминает восклицаниями в конце параграфов: «Это утверждение актуально и сегодня». Типы и практики проституции даны таким же бессвязным списком, который поглощает любые даты и ориентиры. В итоге, приемлемым вариантом использования книги представляется отбор источников на основе цитат — для последующего чтения. Этнографически любопытны тексты Н. Б-ского «Очерк проституции в Петербурге» (1868), А. Шнейдера-Тагильца «Жертвы разврата. Мои воспоминания из жизни женщин-проститутки» (1908), «Труды первого всероссийского съезда по борьбе с торговлей женщинами и его причинами» (1911–1912).

Наконец, отсутствие аналитической модели компенсируется монотонным морализерством, в котором автор далеко превосходит своих предшественников рубежа веков. Бесконечно возвращаясь к определению проституции как общественного порока, он выстраивает весь текст словно грандиозное оправдание тому, как у него, порядочного мужчины, возник интерес к подобной теме, а книжки «об этом», может быть, даже попали в его домашнюю библиотеку. «Падшие женщины»,

«эти отверженные», — сострадательная линия того же самого морализма, который со страниц исторической монографии клеймит проститутки как «промышляющих девиц», «воровок», «подобных „дам“», «это зло», а в содержателях публичных домов усматривает «как правило порочных людей». Снисхождение к проститутирующим из бедности сопровождается у историка 2000-х архетипическим для XIX в. восприятием низших классов как опасных. Цитируя пассаж о работе шайки отравителей в одном из нижегородских публичных домов и вспоминая о романе Л. Толстого «Воскресение», автор сообщает: «Таким образом, можно констатировать, что существование публичных домов часто провоцировало преступность» (с. 128)¹. Спонтанный космический вывод характеризует социальное бессознательное автора лучше его обобщений, вполне осознанно сомкнутых с вековой давности разбором классового характера и самой проституции, и врачебно-полицейского надзора над ней (с. 169).

Обесценивают ли перечисленные особенности многостраничный труд? По меньшей мере, в авторском исполнении. Его может спасти только самостоятельная реконструкция читателем ряда проблем для дальнейшей разработки.

¹ Не менее хлестко звучит: «Приобщению к проституции способствовало слабое умственное и нравственное развитие женщин» (с. 217).

Прежде всего, является ли верхний, в некотором смысле, «благополучный» сегмент проституции в российском XIX в. экспериментальной площадкой форм чувственности и удовольствия, которые встраиваются в социальный порядок, отчасти противостоя практикам семейного воспроизводства, но скорее их дополняя? Можно было бы сослаться на крайнюю ограниченность этого сегмента: возможно, он не вносил весомого вклада в разнообразие сексуального и социального опыта младокапиталистической России. Подобное предположение противоречит простым цифрам. В 1867 г. в Петербурге официально действовало 90 публичных домов первого разряда и только 60 простонародных (с. 101). На деле, огромное число и неожиданная пропорция — 90 специализированных мест трансгрессивной коррекции опыта состоятельных посетителей. Цитируемые Ильиховым тексты указывают на привлекательность антуража публичного дома для «гуляющих» купцов (с. 131), существование шикарнейших заведений с «особенно бесстыдными зеркальными спальнями» (с. 114–115), переодевание прости-

туток в невест, рыбачек или курсисток (с. 112), наличие «особых приспособлений [уточненного разврата]... всегда находящих себе покупателей» (с. 113). Но их авторы, при посредничестве Ильихова, с нервной поспешностью восстанавливают моральный порядок, маскируя субъективную реальность подобных мест и инструментов: «эта особая роскошь для развращенных до мозга костей мужчин, которые не жалеют десятки рублей потратить на разные напитки, вроде коньяку, рябины, шампанского и пр., чтобы удостоиться созерцанием своей собственной персоны, совершающей пошлый безнравственный поступок при свете электрической лампочки»². Из такой квалификации можно «вытянуть» разве что нетривиальный сегодня факт сексуальной притягательности (аморальности) электрического освещения, усиленного зеркалами. Является ли этот зеркально-электрический соблазн социально универсальным на рубеже XIX–XX вв.? Как притягательность зеркальной комнаты соотносится с моделями семейной и холостяцкой чувственности? Каким социальным стилям и ритмам соответствует этот инструмент возбуждения и с какими иными инструментами, помимо коньяка и рябиновки, сопряжен? Эти вопросы вызваны лишь одним свидетельством. Критический пересмотр источников в срезе удовольствия привел бы к рекомпозиции всей российской истории проституции.

² Квалификация зеркальной комнаты в тексте 1908 г. (с. 115).



ПУБЛИКУЕТСЯ В ПЕРВЫЕ

С. М. ЖИВНЕВСКИЙ. РИСУНОК

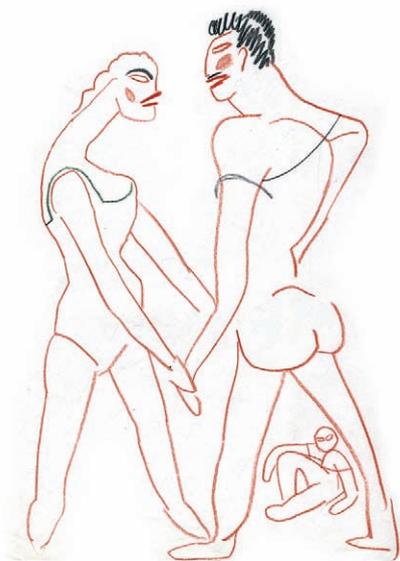
Полустертая цепочка следов ведет к разработанным в этот период стилям «веселой» жизни, которые обеспечены специфической дисциплиной работниц заведений высшей и средней руки. Начиная с ломки господствующей модели «скромного» женского поведения у новых работниц (с. 211), включая тренинг оболщения для приходящих гостиничных проституток (с. 184), заканчивая техниками кокетства при сохранении девственности — для привлечения в заведения богатой купеческой клиентуры (с. 127). «Дрессировка... для порока, сообразно с требованиями развратных посетителей» (с. 117) — формула автора конца XIX в., отсылающая к производству форм чувственности, пока никак не представленных в истории российского общества. Активность «приличных» проституток, живущих семейной жизнью, имеющих положение в обществе и время от времени проститутирующих в кабинетах, чью клиентуру составляли мужчины из той же благополучной среды, лишь усложняет общую картину. Резонерство Ильюхова, столь же охотно, сколь не критически цитирующего предшественников, являет собой образец моральной позы, которая отрицает существование российского «полусвета» вместе с более тонкими и диффузными формами чувственности. Этим образцово моральным восприятием проституции XIX в., сохранившим силу в 2000-х, невозможно пренебречь как историческим фактом. Но точно так же нельзя уклониться от вопроса о том, какие формы удовольствия, встроенные в благопристойный социальный порядок, он маскирует. Критическая версия истории могла бы ответить на вопрос: становится ли проституция, как это можно наблюдать во французском «полусвете», социальным местом складывания стилей жизни, не просто допускающих, но культивирующих одновременно опасное, странное и беззаботное? И как эти локальные стили жизни или их элементы соотносятся с «большим» социальным порядком?

Следующий вопрос дополняет предыдущие: становится ли прямое физическое насилие над женщинами-проститутками неотъемлемой характеристикой жизни в российском публичном доме и на улице? И далее: не является ли это насилие ключевым элементом чувственности, формируемой российской проституцией? Судя по множеству примеров и повторов в книге А. Ильюхова, сексуальная коммерция российского XIX в. основана на репрессивной схеме: повседневно принуждении со стороны хозяев и клиентов, а также всеобщей алкоголизации проституток, призванной это принуждение компенсировать. Согласно свидетельствам, содержатели заведений опаивают и насилуют девушек, похищают на улицах бедных приезжих, регулярно избивают проституток в публичных домах, лишают пищи и снова опаивают. Клиенты систематически издеваются над женщинами и избивают их. Сам сексуальный акт, особенно в дешевых заведениях и с уличными проститутками, происходит в темных углах, «на куче вонючих лохмотьев» — в условиях, почти исключаящих удовольствие. В заведениях царит надзор и физическое

наказание: «В большинстве публичных домов наружная дверь так устроена, что, свободно открываясь с улицы, она изнутри не может быть открыта без ключа, который обыкновенно хранится у „хозяйки“ или „гувернантки“» (с. 385). Полиция регулярно возвращает беглянок обратно, где их жестоко избивают. Публичные дома представляют собой форму социальной изоляции, подобную тюремной — что согласуется с наблюдениями Л. Адлер над аналогичными французскими заведениями¹. Между тем содержательницы французских публичных домов, как и большинство российских — бывшие проститутки, отнюдь не столь жестоки в обращении с работницами. Если, согласно А. Ильюхову, прямое принуждение и подавление удовольствия в России повсеместны, не реабилитирует ли это отчасти моральную объяснительную модель, которая возникает там, где чувственность замещается насилем или «голым» физиологическим проникновением вкупе с унижением? Но, возможно, правильнее будет считать, что сама моральная модель редуцирует чувственность к пытке и «постыдной» физиологии?

Очевидно, что уровень физического насилия в целом привязан к социальной шкале: в нижнем сегменте дешевых заведений и уличной проституции оно регламентирует отношения плотнее, нежели в роскошном верхнем. Однако каковы его формы на разных уровнях и какое место оно занимает в чувственности проститутки, содержательницы заведения, клиента? Уже вступление в профессию представляется с этой точки зрения не столь однозначным, как его определяет автор, сделавший принуждение универсальной схемой. Оставим в стороне фантазмы XIX–начала XX вв. о массовых похищениях девушек из хороших семей для сексуальной эксплуатации. В приложениях к книге воспроизводятся полные данные опросов 56 и 143 проституток конца XIX в. Свободный выбор: отказ «служить на местах», привлекательность «веселой жизни», «избалованность», — фигурирует примерно в 40% ответов о мотивах занятия проституцией. Если изъять из их числа случаи насильственной дефлорации, по отношению к которым «собственное желание», вполне вероятно, рационализирует травму, остается около 30%. Причем только половина из них — женщины крестьянского происхождения и солдатки, другая половина — мещанки, с незначительной долей дворянок. Помимо прочего, А. Ильюхов цитирует рассказы служащих врачебно-полицейских комитетов о девушках, которые горячо

желают поступить в публичные дома еще до совершеннолетия. Иными словами, вхождение в профессию и отношения с содержателями заведений сопровождается не только



ПУБЛИКУЕТСЯ В ПЕРВЫЕ

С. М. Эйзенштейн. Рисунок

¹ Прямые соответствия между Россией и Францией одного периода прослеживаются также в регламентации порядка в заведениях, в запрете на музыку и шум, в предписанном экстерьере домов терпимости. Кроме того, как и во французском, в русском языке XIX в. вступление женщины в публичный дом называется «подчинением».

жестким физическим или экономическим принуждением, но и не менее сильным социальным влечением. Эти свидетельства и цифры ставят под вопрос безупречную работу механики универсальной морали, с которой принято отождествлять XIX в. Они не устраняют вопроса о прямом или опосредованном насилии в поддержании сексуального порядка. Однако уже в части начального этапа ремесла репрессивная модель российской проституции нуждается в коррективах.

Столь же неочевиден финал карьеры и ведущие к нему обстоятельства. Неизбежное «скатывание» проститутки на социальное дно, даже с ирреального заработка 1000 рублей в месяц (при плате ярмарочной проститутке 25 рублей в месяц) — еще один конек моралистов XIX—начала XX вв., повторно седлаемый А. Ильяховым. На деле, этос растраты, свойственный «веселой» среде — новое свидетельство специфически «полусветских» стилей жизни, вопрос о которых совершенно вытеснен из монографии моральным усилием автора. Иное возможное объяснение — тотальная социальная незащищенность проститутки. Автор настаивает на том, что хозяйки заведений собирают и обманывают работниц, подсовывают им дешевую одежду и пищу за огромные деньги, штрафуют за мельчайшие проступки, что сами проститутки слишком много тратят на алкоголь и т. д. Но как объяснить тот факт, что немки, приезжающие в российские публичные дома, за два-три года делают себе состояние достаточное, чтобы заключить выгодный брак на родине (с. 119)? Какие стратегии накопления позволяют работницам заведений высшего класса впоследствии полагать ряды содержательниц заведений? Какую роль в карьере проститутки играют формы страхования, подобные минскому фонду, куда хозяева заведений ежедневно вносят небольшую сумму на выходное пособие работницы (с. 106)?

Наконец, поистине ключевой вопрос — это роль государства XIX в. в создании и переопределении фигуры проститутки. А. Ильяхов касается смежных тем широкими неровными кругами, раздувая объем монографии и взбучивая ее рубрикации. Но, как я вынужден был отметить, явный результат этих маневров крайне неудовлетворителен и парадоксально линеен. Наблюдения некоторых авторов XIX в. более точны и современны. Ключевой здесь предстает связка врачебно-полицейского контроля и публичного дома со второй половины XIX в., когда заведение становится «последним узлом прикрепления женщины к проституции», препятствующим какой-либо иной деятельности (с. 167). Как и в европейских буржуазных обществах, российское государство, по сути, пытается переопределить и переприсвоить преступную карьеру проститутки во имя общественного здоровья и спокойствия¹. Инструментализация женского тела и формирование слоя профессиональных парий во мно-

гом направляется государственными попытками снизить распространение сифилиса среди населения. Эта политика неожиданно совпадает с далекой исторической параллелью, открытием во Франции XIV—XV вв. муниципальных борделей, миссией которых было предотвращение нередких групповых изнасилований добропорядочных горожанок горожанами-мужчинами — т. е. схожая забота об общественном спокойствии². В обоих случаях публичные дома не просто легализуются, а становятся частью системы управления обществом, где телу проституирующей женщины отведена роль опасного, но неустрашимого орудия. Конвульсивное продвижение к полной легализации второй половины XIX в. вводит меру обязательного обмена паспорта на «желтый билет». В результате, проститутка оказывается «публично» изолирована не только в стенах заведения, устройство и распорядок которого становится предметом официальной регламентации,

но и в системе медицинской и полицейской власти города, равно как в заново удостоверенной власти городского обывателя-мужчины. Клиентура сексуальной коммерции становится все более массовой. А международная торговля женщинами и, в целом, нелегальные формы проституции предстают особенно заметными и грозными явлениями именно в свете нового государственного утилитаризма, который привязывает проституцию к «своей» территории и «своему» населению.

Утилитарный поворот в государственном управлении проституцией не просто использует, но заново создает тело проститутки через процедуры наблюдения, освидетельствования, регистрации. Запуск этого механизма с особой остротой ставит проблему строгой классификации, в т. ч. выявления тайных проституток в массе «порядочных женщин». В городском пространстве имеется ряд мест, где замужние женщины не могут появиться, не рискуя своей репутацией. Но во множестве мест и случаев налицо опасное смешение, которое делает ясное разграничение невозможным. Поэтому государство вменяет своим агентам разузнавать, отслеживать, запугивать в целях выявления и легализации «тайного зла». Статус предлагающей свои услуги женщины остается зыбким. В 1880—93 гг. от 30% до 40% учтенных в Петербурге случаев — это женщины, арестованные по подозрению в тайной проституции (с. 134). Важную роль в проведении границы играет презумпция женского одиночества. Не столь редки случаи, когда полицейские агенты квалифицируют одиноко проживающих или бродячих женщин как проституток, с последующим, уже официальным, оформлением этого статуса врачебно-полицейским комитетом. Схожий метонимический принцип классификации воспроизводится и при новом политическом порядке (1919 г.), когда проститутками записывают всех одиноких женщин, попадающих в ночные облавы на вок-

¹ Поворот в государственном управлении рисками проституции отмечен коллизией частичной легализации в 1843—45 гг., при продолжающемся судебном преследовании за «торг телом» (с. 48).

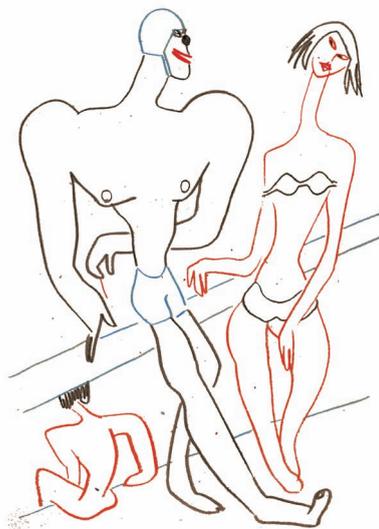
² BRIGITTE ROCHELANDET. *Histoire de la prostitution du Moyen Age au XXe siècle*. Yens sur Morges/Divonne-les-Bains: Cabédita, 2007. С. 30—35.

залах¹. Зыбкость границ сексуальной коммерции рождает множество двусмысленных фигур, роднящих российскую и европейскую историю: служанки, прачки, кондитерши, швеи, актрисы, посетительницы танцзалов, музыкантки, — представленные в коллективном воображении, вероятно, гораздо полнее, нежели в статистических сводках полиции. Если государственная регламентация проституции, затрудняя работницам выход из профессии, делает возможным, по меньшей мере, их учет, то о характере и длительности карьер, степени их криминализации или изобретении новых форм чувственности на полюсе, постоянно ускользающем от официального контроля, известно гораздо меньше.

Соотношение этих двух полюсов и эволюция форм проституции в связи с государственным утилитаризмом и техниками управления рисками — еще одна ненаписанная глава российской истории. В этом контексте упадок публичных домов к концу XIX в. можно анализировать не только как момент истории нравов, но и как факт политической истории, вписанный в свертывание местных реформ и трансформацию инструментов контроля над населением. В любом случае, линейная схема «осуждаемый порок — распространение венерических заболеваний — государственные ограничения» требует самого решительного пересмотра.

КНИГА Лоры Адлер «Повседневная жизнь публичных домов»² захватывает принципиально тот же период, что и монография Ильяхова. Однако в отличие от последней, она доказывает, что история проституции — это не только моральная или криминальная история, но также история культуры, которую в XIX в. вместе со своднями и полицейскими делают знаменитые писатели и бонвиваны. Не ограничиваясь картинками анонимной проституции, автор считает нужным уточнить социальное происхождение известных гетер, чьи имена, вероятно, еще о чем-то говоря т образованному (французскому) читателю, продемонстрировать связь между проституцией и театральным миром, проанализировать растущую захваченность XIX в. вуайеризмом, сопровождающим и отчасти замещающим физическое проникновение, описать «полусветский» ужин как ритуал «веселого» и «странного». Иными словами, книге свойственно внимание к проституции как к звену культурного механизма, который на пике своей продуктивности выводит в свет литературные произведения, впоследствии освященные школьной программой.

Методологическая программа исследования — исто-



ПУБЛИКУЕТСЯ В ПЕРВЫЕ

С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙН. Рисунок

рия повседневности «женщин, которые в конечном счете ничем не отличаются от нас». Насыщенный фактурой текст включает фоновый анализ капиллярной механики власти в духе Мишеля Фуко. В работе присутствует и критика источников — не традиционно исторического, но феминистского толка. Адлер указывает, что большинство письменных свидетельств XIX в. о жизни проституток, включая литературные — это слова мужчин, чей познавательный интерес с трудом отделим от поиска удовольствия в стенах заведений. Действительно, мужская чувственность служит посредником в присвоении и перекодировании мира на языке порядка в гораздо более тонких сферах, подобных институционализированному научному воображению. Подозрение в гендерной предвзятости тем более оправдано в восприятии проституции, напрямую обязанной мужскому желанию.

Но критика автора адресована не только и не столько двусмысленному взгляду писателей, сколько схемам воинствующего морализма, которые воскрешает и Ильяхов. Видя в проститутке источник разврата, пожирающую женщину состояний, «гноющую язву» или «помойку», мужчина на деле сам порождает эту фигуру своим желанием и способом это желание удовлетворять. Та же система власти, которая вершит суд над развратом, предвзятительно формирует опасно-притягательную нишу платного удовольствия, где устанавливает широкую кровать, поместив на нее экзальтированное женское тело в полупрозрачных одеждах. В течение XIX в. публичный дом становится привычным регулятором отношений в городе, через который проходят потоки мужчин. Автора интересует прежде всего это место пересечения

различных форм принуждения и желания, предусмотренных ритуалов и импровизации соблазна, оттенков удовольствия и страдания. В 1920-х г. публичные дома переживают упадок, за которым следует официальный запрет (1949). Это приводит к исчезновению чувственного, отчасти неторопливого и самозабвенного стиля жизни, уступающего место, с одной стороны, рутинной коммерции сексуальных услуг, тарифицируемых по минутно, с другой, растущей свободе паритетных связей. Двойственный интерес автора к борделю как месту упорядоченного насилия над женщиной и источнику неповторимой, чувственной и социальной, фактуры направляет все исследование.

Критический взгляд на мужскую власть не избавляет работу от традиционно репрессивной модели конт-

роля за проституцией. Далекие во многих иных отношениях тексты французского и российского авторов одинаково склонны избегать вопроса о государственном утилитаризме при столкновении со сходными и неизменно шокирующими фактами злоупотребления силой. В версии Адлер государство, чей регламентаризм — неоспоримое зло³,

³ В отличие от версии А. Ильяхова, для которого государственная регламентация проституции и ее рисков, напротив, располагается в перспективе благотворного окончательного искоренения.

¹ ЛЕБИНА Н. Б. *Повседневная жизнь советского города 1920–1930 гг.* СПб: Летний Сад, 1999. С. 84.

² При переводе издательство расцветило и заглавие, заменив хронологическую метку в «Повседневной жизни публичных домов 1830–1930» на «... во времена Золя и Мопассана», и имя автора, превратив Лору в Лауру.

воплощается прежде всего в фигуре полицейского, который делает жизнь проституирующей женщины особенно постыдной и невыносимой. Другой фигурой становится даже не врач, а кабинет частично платного медицинского осмотра и больница как место заточения проституток, больных сифилисом. И обескураживающая процедура врачебного осмотра, и сцены уличного задержания девушек полицией, и условия содержания в участке описаны в мельчайших подробностях. Наряду с прочим, автор указывает, что для обеспечения норм контроля регулярно производились аресты женщин, появившихся на улице в одиночестве — вплоть до жен банкиров. Не менее подробно описана двусмысленность больницы как места излечения/наказания и пытки, специфика которого склоняет девушек объявлять себя воровками скорее, чем проститутками. В этих описаниях трудно не заметить своеобразный антигосударственный морализм на стороне преследуемых, противостоящий официальному морализму регламентаристов.

Однако этический пафос текста и обращение к репрессивной модели уравниваются исторической добросовестностью Адлер, которая уделяет внимание публичному дому как месту изоляции общественной опасности и проследивает ряд поворотных моментов в официальной политике проституции. Речь идет о перипетиях несостоявшегося превращения борделя в единственную, в совершенстве замкнутую и контролируруемую, форму сексуальной коммерции. Попытки парижских властей 1829–30 гг. запретить появление одиночек на бульварах, локализовать проституцию исключительно в домах терпимости, препятствовать переходу работниц из одного заведения в другое, не допускать их появления в окнах и дверях домов были направлены на облегчение доступа к проституткам врачей и полиции, призванных проверять и карать, а также на геттоизацию порока в городском пространстве. Под давлением противников эти меры сменились более либеральным законодательством 1843 г. об изоляции публичных женщин лишь при угрозе общественному порядку, дополненным в 1881 г. циркуляром о неправомерности ареста женщины, пристающей к мужчине (если только она не посягает на его личность, хватая за руку).

Сделав типы проституции (изящной, бордельной, уличной) и персонажей этого универсума (куртизанки, бандерши, певицы, полицейские и т. д.) основой рубрики книги, Адлер создает с очевидностью не полный, но рельефно сработанный словарь социальных ситуаций и обстоятельств. Его рельеф — результат не одного только обращения к литературным источникам, но и достройки собственного текста в чувственных кодах, призванных впечатлять и шокировать. Это еще раз позволяет оценить, насколько каждая версия истории «одного и того же явления» зависит от избранной точки зрения. Набор ингредиентов исторического труда о проституции в любой стране на деле не столь уж широк: проза мужчин-посети-

телей публичных домов, официальные постановления, одни и те же медицинские и полемические трактаты XIX–начала XX вв., газетные заметки, данные опросов проституток и их редкие беллетризованные свидетельства. Это хорошо видно по российским публикациям, с общим ядром источников у «серьезной» версии А. Ильюхова, беллетристики светского доктора¹, вышедшей ранее обзорной работы соавторов-социологов² и еще более раннего сборника статей соавторов-историков³. Познавательная ценность каждой из этих версий определяется способом (и способностью) выстроить общую картину, критически препарировав во многом совпадающий корпус данных или, как это сделала Адлер, прибавив тексту выразительности за счет архивных материалов: официально-документооборота, корреспонденции участников рынка проституции, дневников.

В целом, книга Адлер может служить удачным примером найденного в калейдоскопе подробностей структурного рисунка. Следуя ему, можно обнаружить, что в высшем сегменте проституция смыкается с миром света, где промискуитет отличается от продажи услуг за деньги едва заметными нюансами и где сопоставимые с крупнобуржуазными состояния и изысканный стиль жизни куртизанок на пике карьеры рискованно усложняют систему социальных различий, маскируя разрыв между благородным и постыдным. Если роскошная проституция — такой же сектор рынка наследств и браков, как массовая проституция — рынка профессионального труда, то наличие постоянной оплаченной любовницы, отношения с которой воспроизводят семейную модель, предстает институтом мелко- и среднебуржуазного быта. В свою очередь, проституция публичного дома — образец во многом нормализованной и нередко желанной профессиональной карьеры. Отлаженная механика заведений далека от внешнего принуждения и представляет собой скрупулезно выверенную систему соблазнения: возможностью заработка для девушек, послушными телами и тщательно стилизованной атмосферой заведений для клиентов. Если рутинное физическое насилие процветает в заведениях низшего уровня, оно характеризует, согласно описаниям Л. Адлер, скорее отношения между клиентами, чем отношения к женщинам. Это не делает их жизнь более сносной. Но оставляет вопрос о насилии и его соотношении с чувственностью открытым в отношении обеих структурно близких ситуаций российской и французской проституции XIX в. ■



ПУБЛИКУЕТСЯ В ПЕРВЫЕ
С. М. ЭВЗЕНШТЕЙН. Рисунок

¹ Упомянутая книга И. Князькина «Всемирная история проституции».

² Голосенко И. А., Голод С. И. *Социологические исследования проституции в России*. СПб.: Петрополис, 1998.

³ Льбина Н. Б., Шкаровский М. В. *Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в. — 40-е гг. XX в.)*. М.: Прогресс-Академия, 1994.